

ВЕЛИСЛАВА ЧЕРНОВА



ЗОВ
ПОЛУНОЧНИЦЫ

Серия: Хроники Мёртвых Топей

Велислава Чернова

Зов полуночницы

«Автор»

2026

Чернова В.

Зов полуночницы / В. Чернова — «Автор», 2026

В деревне Заречье умирают младенцы. Тихо, без крика — ровно в полночь. Диагноз — синдром внезапной детской смерти. Но фельдшер не видит того, что видят матери: на замёрзших окнах детских комнат каждую ночь проступает отпечаток женской ладони. Изнутри. Молодая мать Марина в отчаянии пишет единственному человеку, который может помочь, — Василисе Мороковой, травнице из Чернотопья, дочери легендарной знахарки Марфы. Василиса возвращается в Заречье впервые за семнадцать лет — в деревню, где родилась её мать. В деревню, где её мать сожгли заживо. В тетради погибшей матери Василиса находит страшную правду: Полуночницу — духа, крадущего детское дыхание — не случайно привлекло в деревню. Её ПОЗВАЛИ. В 1970-х, когда больных детей «убирали» по приказу, повитуха Степанида научилась звать Полуночницу к колыбели. Но дух, однажды вызванный, не остановился. Зимняя ночь. Мороз. Восемнадцать часов темноты. Дом, где не гаснут свечи. И тишина — та самая, после которой ребёнок перестаёт дышать.

© Чернова В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Зима в Чернотопье	8
Глава 2. Дорога в Заречье	13
Глава 3. Марфина дочь вернулась	19
Глава 4. Первая ночь	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Зов полуночицы

Пролог

Декабрь 1973 года. Заречье.

Снег шёл с самого Михайлова дня — и не переставал. Дороги к деревне замело по пояс, провода под тяжестью наледи провисли, и единственный фонарь у клуба горел так слабо, словно стеснялся собственного света. В избе на краю деревни — той самой, что стояла последней перед чёрной кромкой леса, — топилась печь. Угли потрескивали, выбрасывая в темноту короткие красные искры.

Степаниде Власьевне было тридцать восемь. Молодая ещё — по деревенским меркам. Крепкая, чернобровая, с прямой спиной и сильными руками повитухи. Те руки многое умели. Принять ребёнка, перевязать пуповину, обмыть новорождённого тёплой водой с травами, что Марфа сама заготавливала по весне. Эти же руки умели и другое — то, о чём в деревне знали, но вслух не говорили.

В углу избы стояла люлька. В люльке лежал младенец — мальчик, четырёх месяцев. Лицо у него было серое, маленькое, и грудь поднималась так редко, что Степанида, наклонившись, должна была долго прислушиваться, чтобы понять — ещё дышит. Сын Зинаиды Гончаровой. Болезный с рождения, недоношенный, с щелью в спине, через которую сочилась жидкость. Фельдшер сказал прямо, без обиняков: до весны не доживёт. А если и доживёт — будет лежать колодой, не сможет ни ходить, ни говорить, и Зинаида с ним до старости промается.

Зинаида спала на лавке, отвернувшись к стене. Она не спала по-настоящему — Степанида знала это. Она лежала и ждала. Так и условились: председатель сказал — Зинаида согласилась.

— Помоги ему, Степанида Власьевна, — сказала она вечером, не глядя в глаза. — Чтоб не мучился. Чтоб ушёл легко.

«Помоги» — это слово в Заречье имело особый вес. Им говорили о многом. Помочь корове отелиться. Помочь старику отойти. Помочь больному ребёнку не дотянуть до того дня, когда боль станет невыносимой.

Степанида перекрестилась — медленно, неуверенно, словно сама не была убеждена, что Бог сейчас смотрит в её сторону. Потом сняла с полки маленькую глиняную чашу. В чашу положила щепоть соли, добавила сухой травы — той, что Марфа называла «полуночицыной». Чёрные, скрученные, как обугленные нитки, листочки. Поверх плеснула воды — три капли с печной заслонки, ещё горячих. Зашептала.

Слова были не молитвой. И не заговором в обычном смысле — не от грыжи, не от уроков, не от испуга. Это было приглашение. Имя. Просьба, обращённая к той, что приходит не на зов света, а на зов холода.

— Мать ночная, мать тихая, мать-кормилица, — шептала Степанида, и её собственный голос казался ей чужим. — Дитя малое, скорбное, болезное. Возьми его к себе. Согрей его у себя. Освободи от муки.

Свеча на столе вспыхнула выше — и погасла. В избе стало темно. Только угли в печи продолжали тлеть, и от их света тени на стенах сдвинулись — будто кто-то невидимый прошёл от двери к люльке.

Температура в избе упала.

Степанида знала, что это. Её учила Марфа — повитуха Заречья, женщина, к которой ходили со всех окрестных деревень. Марфа была старше Степаниды на двадцать лет, и Марфа знала всё. Травы. Кости. Слова. Имена тех, кого нельзя называть после захода солнца. Она научила Степаниду многому — но не всему. Это, последнее, Степанида подсмотрела сама.

Услышала однажды, как Марфа шептала над колыбелью больного ребёнка из соседней деревни — и запомнила. Имя. Формулу. Поворот руки над сердцем младенца.

Марфа не одобрила бы. Марфа сказала бы: «Дура. Полуночницу нельзя звать. Её можно только не звать». Но Марфы здесь не было. Марфа жила на другом конце деревни, в своей избе с тремя окнами на восход, и держала там маленькую дочь — Василиску, девочку лет двенадцати, серьёзную, тихую, с такими же тёмными глазами, как у матери. Марфа сейчас спала. И не знала.

Холод в избе сгустился. Степанида почувствовала, как кожа на руках покрывается мурашками — не от страха, нет, от настоящего, пронизывающего мороза, какого в натопленной избе быть не должно. Печь стояла полная углей. Заслонка была закрыта. И всё равно — холод.

Зинаида на лавке вдруг тихо застонала во сне. Перевернулась лицом к стене ещё сильнее, словно пыталась провалиться в дерево. Она тоже чувствовала. Спала — и чувствовала.

Степанида подошла к окну. На стекле — изнутри — медленно, как растущий мох, проступал иней. Кружево, узор, паутина из ледяных игл. И вдруг — Степанида замерла, не отрываясь глядя в стекло, — в самой середине окна, среди морозных узоров, появился отпечаток. Ладонь. Тонкая, длинная, женская ладонь с растопыренными пальцами. Иней расходился вокруг неё, как от тёплого прикосновения, — оттаивал, прозрачнел. Но за окном никого не было. За окном лежал снег, и до ближайшего дома было сто метров.

Ладонь была изнутри.

Степанида повернулась к люльке. Младенец дышал. Ещё дышал. Маленькая грудь приподнялась — и опустилась. Снова приподнялась — и снова опустилась. И не поднялась.

Тихо. Так тихо.

Степанида стояла, не двигаясь. Минуту. Две. Три. Потом подошла, наклонилась — и увидела: лицо у мальчика разгладилось. Морщинки боли, которые жили на нём с рождения, ушли. Он лежал, словно уснул в тёплый летний полдень, и на губах его дрожала почти улыбка.

Свеча на столе вспыхнула — сама, без причины. И загорелась ровно, спокойно.

Степанида повернулась к окну. Отпечаток ладони таял — медленно, не как от воды, а как от выдоха. Через минуту он исчез. Иней сомкнулся, и стекло снова стало просто замёрзшим стеклом зимней ночи.

Зинаида приподнялась на лавке. Молча. Не глядя на Степаниду, не глядя на люльку. Она просто села и сжала пальцы у горла.

— Готово? — прошептала она.

— Готово, — сказала Степанида.

Зинаида заплакала — без звука, без всхлипа. Слезы шли сами, как талая вода с крыши в марте. Степанида перекрестилась ещё раз и положила руку Зинаиде на плечо.

— Он не мучился. Ты слышишь? Он не мучился.

— Слышу, — сказала Зинаида. — Спасибо тебе, Степанида Власьевна.

Они посидели так — две женщины и мёртвый ребёнок, четвёртый раз за этот год Полуночница пришла на её зов. Степанида знала: председатель назавтра принесёт ей мешок муки и бутылку масла. «За хлопоты». Так было заведено. Так это называлось.

В углу избы, у самой двери, чуть колыхнулся воздух. Степанида почувствовала это спиной. Будто кто-то стоял там. Кто-то невидимый. Не торопился уходить. Прислушивался.

— Ступай, — прошептала Степанида сквозь зубы. — Я тебя позвала, я тебя и отпускаю. Уходи к себе.

Воздух колыхнулся ещё раз — и стих. Дверь в сенях скрипнула, словно её толкнули с той стороны, — и снова замолчала.

Степанида не знала тогда, в декабре 1973-го, что Полуночница не уйдёт. Что отпустить можно того, кто пришёл сам. А того, кого позвали, — позвали навсегда. Что через год она снова позовет её — для Лёшки Михайлова, родившегося без правой ножки. И ещё через пол-

года — для близнецов Пироговых, что лежали в две люльки и заходились криком от голода, потому что мать была пьющая. И ещё, и ещё. Пятнадцать раз за пять лет. Пятнадцать маленьких отпечатков на пятнадцати замёрзших окнах. Пятнадцать «милосердий».

Не знала Степанида и того, что в августе 1980 года Марфа — её учительница, женщина, у которой она училась травам, — узнает обо всём. Придёт к ней в избу, сядет у печки и скажет тихо, без крика: «Ты позвала ту, кого нельзя звать. Теперь её надо отвадить. Я сделаю это сама. А ты молчи и не мешай». И не знала Степанида, что через три недели после этого разговора изба Марфы вспыхнет ночью — со всех четырёх углов сразу, — и сама Марфа сгорит в ней живьём, потому что дверь в избу будет подпёрта снаружи поленом. А двенадцатилетняя Василиска чудом останется жива — спрыгнет с чердака, унося с собой только материнскую тетрадь в кожаном переплёте.

Не знала и того, что та самая Василиска через семнадцать лет вернётся в Заречье. Уже взрослой. Уже знающей. И что отпечаток ладони на окне снова будет тёплым.

Полуночница терпелива. Полуночнице спешить некуда.

Степанида сидела у люльки до рассвета. Молилась тихо, повторяя слова, которым её учили в детстве и которым она перестала верить тогда, когда впервые произнесла другое имя. Молитва её не была услышана. Никем.

А на окне, в самом углу, у переплёта рамы, остался едва заметный след — точка, словно от мизинца. Никто его не заметил.

И он не растаял до самой весны.

* * *

Глава 1. Зима в Чернотопье

В Чернотопье снег пошёл в ноябре и больше не переставал. К декабрю деревня лежала под белым на полметра, заборы стояли по верх жердей в сугробах, и труба над избой Морокова курилась ровным сизым дымом, который таял в неподвижном морозном небе.

Корнеев проснулся первый. Это было непривычно — раньше, в городской его жизни, он редко поднимался раньше восьми. Чернотопье научило другому: вставать вместе с печкой. Если упустишь час — изба остынет, и потом весь день будешь её догонять. А Василиса, хоть и привычная к деревенскому быту, в последнее время спала тяжело — он замечал это, но не говорил. Видел, как она во сне сжимает простыню в кулаке. Видел, как просыпается с задержкой дыхания, словно вынырнула из-под воды. Видел — и молчал. Знал: о таком не спрашивают. Когда захочет — сама скажет.

Он опустил ноги с лавки. Половицы под босыми ступнями были холодные, как ножи. Корнеев натянул шерстяные носки — Василиса связала ему ещё в октябре, серые, с белой полосой по верху, — потом джинсы, потом старый свитер, который раньше принадлежал её деду. Свитер пах сухим табаком и чем-то ещё — кажется, мятой. Василиса хранила пучки мяты в шкафу, между свитерами. «От моли», — говорила она. Корнеев подозревал, что от воспоминаний.

Он прошёл к печи. Угли в поддоне ещё тлеи — значит, ночью прогорело не всё. Хорошо. Он разворошил их кочергой, бросил сверху берёзовое полено — самое сухое, припасённое для растопки, — и пламя пошло вверх жадно, с треском. Корнеев присел на корточки, подставил ладони. Огонь грел кожу, и в этом было что-то почти молитвенное — будто за каждым утром стоит этот ритуал: разбудить тепло, не дать ему уйти.

— Опять ты раньше меня, — Василиса вышла из спальни, кутаясь в шаль. Тёмные волосы спутались, на щеке — отпечаток подушки. Глаза у неё были усталые, обведённые тенью.

— Не спалось, — сказал Корнеев. — Холодно стало.

— Холодно, — повторила она, словно пробуя слово на вкус. И не добавила ничего.

Они стояли у печи молча. За окном, на стекле, лежал толстый слой инея — узоры, кружева, ветви ледяных папоротников. Василиса протянула палец, провела по морозному рисунку. Иней под её прикосновением растаял маленькой капелькой.

— Чай поставлю, — сказала она.

* * *

Завтракали в кухне, у окна. Василиса разрешила ржаной хлеб, который сама пекла третьего дня — твёрдый, с тмином, с тёмной хрусткой коркой. Корнеев налил кипятка в две глиняные кружки, бросил в каждую по щепоти травы — мяты, душицы, ещё чего-то, чему он не знал названия. Василиса научила: пить эту смесь утром, тогда легче дышать в сырую погоду. Он не очень-то верил в её травы — но пил.

— Сегодня поеду в правление, — сказал он. — Семёнов прислал бумаги. Надо подписать.

— Что за бумаги?

— Постановка на учёт. Меня по новому месту жительства оформляют. Я ведь теперь, считай, чернотопский.

Василиса подняла на него глаза. В них на мгновение мелькнуло что-то — не радость, не удивление, а будто узнавание, словно она впервые осознала: да, это правда, он здесь. Не в командировке. Не временно. Совсем.

— Чернотопский, — повторила она. — Звучит, как фамилия.

— Может, и фамилия. Если ты не против.

Она опустила глаза в кружку. Корнеев увидел, как уголок её рта дрогнул — то ли в улыбке, то ли в чём-то более сложном.

— Дмитрий, — сказала она тихо. — Не сейчас, ладно?

— Хорошо, — он не настаивал. Он знал её. Она не отказывала — она просила времени. Времени у них теперь было достаточно: впереди вся жизнь. По крайней мере — он так думал.

Они доели хлеб. Василиса встала, собрала кружки, и в этот момент в дверь сеней постучали. Дробно, по-деревенски — три коротких удара, потом ещё три.

— Кого это? — Корнеев нахмурился. В Чернотопье в декабре в половине девятого утра никто не ходил по гостям без серьёзного повода. Морозы стояли крепкие, дорога занесена, и каждый знал: если идёшь — то по делу.

Василиса вышла в сени. Корнеев слышал её голос, потом другой — мужской, простуженный, с одышкой. Минуту спустя она вернулась, держа в руке конверт. Лицо у неё было закрытое — то выражение, которое он научился распознавать как «что-то случилось, но я ещё не готова сказать».

— Почтальон, — сказала она. — Письмо.

— Тебе?

— Мне.

Она положила конверт на стол. Бумага была обычная, серая, с типографским штампом района. Адрес написан от руки — крупными неровными буквами:

«Чернотопье, Морокова Василиса Гавриловна»

Без улицы, без дома — в Чернотопье ни улиц, ни номеров никогда и не было. Все знали друг друга так.

Обратного адреса не было. Только в углу — карандашом, мелко: «Заречье. М.З.»

Василиса смотрела на конверт долго. Так долго, что Корнеев успел встать, подойти к ней и встать рядом. Заглянул через её плечо.

— Заречье, — сказал он медленно. — Это что?

— Деревня, — ответила она, не отрывая глаз от конверта. — Пятнадцать километров отсюда. Через лес. Если по прямой — пятнадцать, если по дороге — все тридцать.

— Ты там бывала?

— Я там родилась.

Корнеев замер. Он знал, что Василиса откуда-то «с района». Знал, что она перебралась к деду в Чернотопье в подростковом возрасте. Знал — потому что сама сказала однажды, мимоходом, — что мать у неё умерла, когда ей было двенадцать, а отца она никогда не знала. Но конкретное место — деревня Заречье — это было новое. Это было то, что она прятала так далеко, что не доставала даже наедине с ним.

— Открой, — сказал он мягко. — Если хочешь.

Она открыла. Лист бумаги внутри был сложен втрое, написан той же рукой, что и адрес, — крупно, неровно, чернилами. Видно было, что писали в спешке, что строчки прыгают.

«Василиса Гавриловна. Не знаю, помните ли вы меня. Я — Марина Зотова. Дочка Анны Зотовой, которая ваша мама принимала в шестьдесят восьмом. Анна про вашу маму всю жизнь рассказывала. Говорила — святая женщина была.

Я живу теперь в Заречье. Вышла замуж сюда, мужа Олегом зовут, он на ферме работает. У нас дочь Алиса, ей три месяца. Я бы не писала, если бы было куда ещё.

Что-то приходит к моей девочке по ночам. Каждую ночь. Ровно в двенадцать. В комнате становится холодно — печь топлю, а холодно. Алиса перестаёт дышать. Иногда десять секунд. Иногда дольше. Потом плачет — но плачет тихо, будто сил нет. И на окне с моей стороны, изнутри, остаётся отпечаток ладони. Женской. Не моей.

Фельдшерица в Заречье говорит — это нервы. Она меня к психиатру посылает. Я к психиатру не поеду. Я знаю, что я вижу.

В деревне говорят, что Полуночница вернулась. Степанида Власьевна, повитуха наша, отнекивается — но я вижу: она боится. И ещё мне старые бабы рассказали, что в семьдесят

третьем такое уже было. Тогда много детей умерло. И что одна женщина в деревне знает, как с этим бороться — но её сожгли. Это была ваша мама.

Простите, что пишу про это. Я бы не написала. Но за последние полгода в Заречье трое детей умерло. Все трое — ночью, в полночь. Все трое — без причины. Моя Алиса — единственная младшая, кто остался. Если я её не спасу — больше не будет ни одного младенца в деревне.

Помогите. Не могу больше. Не сплю шесть недель. Сажу у её кровати и считаю её вдохи.
Марина Зотова.

Заречье, дом Зотовых, у фермы. Каждый покажет.»

Василиса дочитала. Положила лист на стол — медленно, осторожно, словно бумага могла обжечь её пальцы. Лицо у неё было белое. Не бледное — белое, как полотно.

— Полуночница, — прошептала она.

— Что это, Василиса? — Корнеев положил руку ей на спину. Под его ладонью её плечи дрожали — мелко, как у замёрзшего ребёнка.

— Это дух, — сказала она глухо. — Она приходит к младенцам в полночь. Она забирает у них дыхание. Мама мне о ней рассказывала. Когда я была маленькая, мама говорила: «Если когда-нибудь, Василисушка, ты услышишь, что ночью в избе стало холодно без причины, — крестись, шепчи отче наш и три раза проси ту, кто пришла, уйти к себе. Она уйдёт. Но только если её не звали».

— А если звали?

Василиса повернулась к нему. В её тёмных глазах стояло что-то, чего он раньше не видел. Не страх — страх он знал. Это было глубже. Это была память — старая, давняя, тянущая, как омут.

— Если звали — то нет, — сказала она. — Тогда она остаётся. Тогда она привязывается. Тогда она ходит по деревне, пока есть, кого забрать.

Корнеев долго смотрел на неё. Потом — медленно, чтобы дать ей возможность отстраниться, если захочет, — обнял. Она не отстранилась. Уткнулась ему в свитер. Он почувствовал, как через ткань проходит её тепло — и её дрожь.

— Поедем? — спросил он.

— Поедем, — сказала она в плечо. — Я должна.

— Когда?

— Завтра. Соберусь — и завтра.

Он гладил её по волосам. За окном иней разрастался дальше, и в углу стекла, у самой рамы, появилась маленькая точка — крошечный, едва заметный отпечаток. Как от мизинца. Корнеев его не увидел.

А Василиса — увидела. И сжала зубы. И ничего ему не сказала.

* * *

День прошёл в сборах. Корнеев позвонил Семёнову — старому коллеге, начальнику районного следственного отдела, — и официально оформил командировку в Заречье. Повод — три случая внезапной младенческой смерти за полгода, статистическая аномалия в малочисленном поселении. Семёнов не удивился. Семёнов вообще давно перестал удивляться запросам Корнеева — за последний год он понял, что если Корнеев едет куда-то, то едет не зря.

— Возьми Сидоренко, — посоветовал Семёнов в телефон. — Он по медицинской части. Сам-то ты в детских смертях не разберёшься.

— Возьму, если понадобится. Сначала сам посмотрю.

— Дмитрий, — голос Семёнова в трубке стал тише. — Ты там осторожнее. Заречье — место... ну, я бы сказал, специфическое. Старики говорят — нехорошее.

— Спасибо, — сказал Корнеев. — Буду осторожен.

Он положил трубку. Подумал о Заречье. О том, что он знает оттуда. Знает, что деревня старая — лет триста, не меньше. Знает, что в советское время там был колхоз «Заря» — обычный, нерентабельный. Знает, что после девяносто первого колхоз развалился, фермер один поднял на его месте мясное хозяйство — несколько голов скота, овец, кур. Знает, что школа в Заречье формально работает — три ученика, одна учительница, она же завуч, она же директор. Что фельдшерский пункт работает один день в неделю. Что почта — раз в неделю, по понедельникам. Что в деревне сорок дворов, из них жилых — двадцать. Население — сто двадцать человек. Из них стариков — две трети.

Это была деревня доживающая. Как и Чернотопье. Как и десятки других в этой стороне. Но в Чернотопье, по крайней мере, никто не умирал в колыбели.

* * *

Вечером Василиса собирала сумку. Складывала туда вещи аккуратно, по одной, и Корнеев заметил, что она берёт с собой не только тёплую одежду. На дно сумки она положила ту самую тетрадь — материнскую, в кожаном переплётё, тёмно-коричневую, с потемневшими углами. Тетрадь, которую он видел всего один раз — в первую неделю их знакомства, когда Василиса доставала из неё рецепт отвара для деда. Тогда тетрадь лежала на её колене раскрытой минутой — и он успел увидеть только страницу, исписанную мелким наклонным почерком, и нарисованные на полях растения.

Сейчас тетрадь легла в сумку первой. Поверх неё Василиса положила свитер. Свитер прикрыл тетрадь, как ладонью.

— Что в ней? — спросил Корнеев тихо.

— Всё, что мама успела записать, — сказала Василиса, не поднимая глаз. — Травы. Слова. Имена.

— И про Полуночницу там есть?

— Есть, — она замолчала. Потом добавила: — Мама не успела дописать. У неё была формула — как Полуночницу отвадить. Но мама её не закончила. Не успела.

— Из-за чего?

Василиса подняла глаза. И сказала, ровно, без выражения:

— Из-за того, что её сожгли.

Корнеев замер.

— Кто? — спросил он.

— Я не знаю, — сказала Василиса. — Тогда мне было двенадцать. Я выпрыгнула из окна второго этажа — она кричала мне «беги», и я побежала. Утром мне сказали, что мама не успела выйти. Что дверь была заперта снаружи. Что нашли полено, которым её подпёрли. Но кто это сделал — я не знаю. Пьяницы говорили, что не помнят. А трезвых тогда в деревне почти не было.

Она снова опустила голову. Принялась складывать в сумку шерстяные носки.

Корнеев молчал. Он чувствовал — в груди у него что-то горит. Не злора — он давно перерос злора как чувство. Это было другое. Это было решение. Тихое, твёрдое, такое, какое в нём родилось в ту секунду, когда он впервые увидел Василису ту, ночью, у болота. Решение, которое он тогда не назвал словами, но с тех пор знал — это есть.

— Мы туда едем не только за Алисой, — сказал он. — Мы туда едем за тобой.

Василиса подняла на него глаза. Долго смотрела. Потом тихо, без улыбки, кивнула.

— Знаю, — сказала. — Поэтому и согласилась.

* * *

Ночью он не мог уснуть. Лежал на боку, смотрел на Василису. Она спала отвернувшись, и плечо её под одеялом поднималось — опускалось — поднималось — опускалось. Ровно. Он считал её вдохи, как Марина Зотова, должно быть, сейчас в Заречье считала вдохи своей

трёхмесячной Алисы. Чужой человек, в чужой деревне, в чужой жизни. И всё-таки — будто его.

Он думал: я никогда не был с женщиной так, как сейчас. Я никогда не боялся за кого-то так, как сейчас. И — впервые в жизни — я не хочу терять.

Раньше он жил так, словно терять ему нечего. Сестра пропала, отец давно умер, мать — на другом конце страны и почти не вспоминает о нём. Он работал, ел, спал, иногда выпивал — но это не было жизнь, это была инерция. А теперь — теперь у него было то, что можно потерять. И от этой мысли в груди делалось тесно.

— Не спишь? — Василиса говорила в подушку, не поворачиваясь.

— Не сплю.

— Думаешь?

— Думаю.

Она замолчала. Потом тихо, очень тихо, сказала:

— Я тоже.

Он подвинулся ближе, обнял её сзади. Прижал ладонь к её груди — туда, где билось сердце. Сердце шло ровно — но он знал, что её ровность сейчас обманчива. Она держалась — но держалась как сильно натянутая струна. Тронь — лопнет.

— Что бы ни было в Заречье, — сказал он ей в волосы, — мы оттуда вернёмся. Вместе. Слышишь?

— Слышу, — ответила она.

Они лежали молча. Снаружи, за окном, шёл снег — медленный, густой, бесшумный. Снег засыпал следы, засыпал крыши, засыпал прошлое и настоящее, и в этой белой тишине Чернотопье спало последним спокойным сном перед тем, как они выйдут утром, заведут машину и поедут на запад, по заиндевелой дороге, в деревню, где когда-то горела заживо мать Василисы и где теперь, тридцать с лишним лет спустя, на окнах снова появились отпечатки.

Корнеев закрыл глаза. И в темноте под веками, неожиданно ясно, увидел: маленькая ладонь, женская, тонкая, прижата к замёрзшему стеклу. И тает иней вокруг неё.

* * *

Глава 2. Дорога в Заречье

Утро поднялось медленно, без солнца. Зимний рассвет в этих краях был долгий, тусклый, серый, как мокрая шерсть — небо просто из чёрного становилось серым, и серое продолжалось до самого вечера. Корнеев вышел во двор расчищать машину от свежего снега. Снега за ночь намело сантиметров десять — и пришлось работать лопатой, и пятна пота под свитером сразу остыли на морозе.

Василиса вышла следом. На ней был тёмный полушубок — длинный, до колен, с воротником из овчины, — серый платок поверх волос, валенки с галошами. В руках — сумка с вещами и термос с чаем. Она встала у крыльца и смотрела, как Корнеев убирает снег. Не торопилась. И в этой её способности молча ждать была сила, которой он завидовал.

— Готова? — спросил он, забрасывая последнюю лопату снега через забор.

— Готова, — она кивнула. — Только... Дмитрий. Я ещё кое-что хочу взять.

Она вернулась в избу. Минут через пять вышла с маленьким свёртком — в полотенце завернутое что-то твёрдое. Аккуратно положила свёрток в багажник.

— Что там? — спросил он.

— Соль. Зерно. Иголки. Чёрный камень из печи. — Она помолчала. — На всякий случай. Если ритуал понадобится.

— Какой ритуал?

— Любой. Заречье — старое место. Там много чего может всплыть.

Он не стал спрашивать. Сел за руль. Завёл двигатель. Старая «Нива» закашлялась, чихнула морозом и заработала ровно. Василиса села рядом. Закрывает дверь. И в этот момент — он увидел это краем глаза — посмотрела на свой дом долгим взглядом. Будто прощалась.

— Поехали, — сказала она.

* * *

Дорога из Чернотопья на запад шла сначала через лес — узкая, накатанная санями, с глубокой колеёй посредине и бугристыми обочинами. «Нива» шла на второй передаче, мотор гудел напряжённо. С веток ели, нависающих над дорогой, время от времени осыпался снег — комьями, тяжёлыми, обмякающими на капоте белыми лепёшками.

Корнеев молчал. Василиса смотрела в окно. Она сидела, чуть повернувшись к лесу — словно искала там что-то знакомое и одновременно боялась найти.

— Расскажи мне о Заречье, — попросил он через час.

Она ответила не сразу.

— Что рассказать? — спросила она. — Деревня как деревня. Сорок дворов. Школа. Фельдшерский пункт. Магазин один — продмаг, в нём раз в неделю хлеб привозят. Стояла на берегу речки Заречки — в честь неё и названа. Речка маленькая, мелкая, рыбы в ней почти нет.

— А ты?

— А я там жила до двенадцати лет, — она опустила глаза в колени. — Мама работала повитухой. Кроме повитухи, она была травницей. Знахаркой. К ней ходили со всей округи — с трёх деревень. Кто за травой от живота, кто от сглаза, кто роды принять. Мама никому не отказывала.

— А отец?

— Отца не было, — сказала она просто. — Я о нём ничего не знаю. Мама не говорила. Один раз только сказала — «он был хороший человек, но он не мог остаться». Больше не говорила.

Корнеев кивнул. Дорога свернула — узкий поворот между двумя седыми ёлками. Колеса прошли по обледенелому корню — машину тряхнуло.

— Какой она была? — спросил он.

— Мама?

— Да.

Василиса задумалась. Долго молчала. Корнеев уже подумал — не ответит. Но она ответила:

— Маленькая была. Худенькая. Меньше меня. Глаза тёмные, волосы тёмные — я в неё. Голос тихий — она никогда не кричала. Даже когда сердилась — говорила шёпотом, и тогда было страшнее всего. Знала всё на свете. И умела всё. Принять роды, выправить вывих, остановить кровь словом. Она часто говорила: «Слово сильнее травы, а трава сильнее лекарства». Я ей верила.

— И сейчас веришь?

— Сейчас знаю.

Они помолчали. Дорога вышла из леса — впереди показалась залитая снегом равнина, и вдалеке, на холме, тёмная полоса другой деревни. Не Заречье — какая-то промежуточная.

— Она боялась чего-нибудь? — спросил Корнеев.

— Мама?

— Да.

Василиса повернулась к нему. В её лице снова было то выражение — старое, давнее, словно она достаёт из памяти то, что давно лежит в сундуке.

— Она боялась только одного, — сказала Василиса. — Что я повторю её путь. Она говорила: «Знание — тяжёлый дар, Василисушка. Оно не даёт жить как все. Лучше будь как все». Я её не послушала.

— Почему?

— Потому что не как все — это я сама. Этого не выбираешь.

* * *

Они проехали ещё час. Дорога шла мимо заброшенных полей — припорошенных снегом, заросших по бокам кустарником. Раз промелькнул разрушенный коровник — облезлая шиферная крыша, провалившаяся стена. Где-то на горизонте, в стороне от дороги, торчали верхушки силосной башни — заброшенной, тёмной.

— Здесь раньше колхоз был, — сказала Василиса. — «Заря». Мама в нём не работала. Она была сама по себе. Председатель её недолюбливал — потому что она ему отказывала.

— В чём?

— В разном. Один раз отказала ему дочь от ребёнка избавить — дочка была от женатого, председатель боялся срама. Мама сказала — нет. Сказала: «Я роды принимаю, а не убираю». Председатель тогда злился сильно. Угрожал её из деревни выгнать. Не выгнал, но обиду затаил.

— И как его звали? Председателя.

— Гончаров, — сказала Василиса. — Никита Андреич Гончаров. Умер в восемьдесят третьем, от инсульта. Хорошо умер — никто не пожалел.

Корнеев запомнил фамилию. Он знал, что в Заречье ему придётся проверить всё — все имена, все события, все случаи. Запах старого преступления он чувствовал теперь так же ясно, как когда-то чувствовал запах свежих следов — это была его профессиональная интуиция, выработанная годами.

— Степанида Власьева, — сказала Василиса вдруг. — Помню её хорошо. Она часто к маме приходила. Училась у неё. Была вроде ученицы. Тёплая такая женщина — пироги пекла, нас с мамой угощала. Любила меня. Заплетала мне косы.

Корнеев насторожился. Имя Степаниды в письме Марины упоминалось — повитуха Заречья, та, что «отнекивается».

— Жива?

— Жива. Семьдесят лет ей сейчас. Если что — она единственная, кто меня там в лицо вспомнит. Все остальные либо уехали, либо умерли, либо забыли.

— Ты к ней пойдёшь?

— Пойду, — Василиса кивнула. — Это первый человек, к кому я пойду. После Марины.

* * *

К полудню они добрались до развилки. Указатель — старый, ржавый, с облупленной краской — показывал две стрелки: «Запольный — 12 км», «Заречье — 8 км». Дорога к Заречью была узкая, едва расчищенная — видно, что трактор прошёл недавно, но не до конца. Корнеев свернул направо.

— Близко, — сказала Василиса. — Через семь километров — мост. Старый, деревянный. Если стоит ещё.

— А если не стоит?

— Тогда обходом, по льду. Речка зимой замерзает.

Мост стоял. Деревянный, узкий, с провалившимися местами досками, но — стоял. «Нива» переехала через него осторожно, на первой передаче. Под колёсами скрипело — то ли дерево, то ли снег.

— Помнишь его? — спросил Корнеев.

Василиса не ответила. Она смотрела на мост, на чёрную ленту льда под ним, на белый берег с занесёнными снегом ивами. И Корнеев увидел: её губы шевельнулись. Беззвучно. Что-то она шептала. Не молитву — он бы услышал. Что-то другое. Заговор? Имя?

Он не спрашивал.

После моста дорога пошла вверх, к холму. И с холма — Корнеев почувствовал, как у него сжалось в груди, — открылось Заречье.

Деревня лежала в чаше — между двумя пологими склонами, у излучины замёрзшей речки. Длинная улица — одна, единственная — тянулась с востока на запад, и по обе стороны от неё стояли дома. Дома были разные — старые, бревенчатые, с резными наличниками, и более новые, обшитые сайдингом и крашенные в синий и жёлтый. Над крышами поднимались редкие столбы дыма — тонкие, прямые, словно деревня дышала по одной ноздре. С восточного края деревни виднелось каменное строение — серое, с плоской крышей, явно нежилое: фельдшерский пункт, должно быть. Чуть дальше — длинное кирпичное здание с заклеенными окнами: бывший клуб. На западе, у самого края, низкие крыши коровников — там, видимо, ферма, где работает муж Марины Зотовой.

И — поверх всего этого, поверх крыш, и снега, и дыма — стояла абсолютная, плотная, словно ватная, тишина.

— Тихо, — сказал Корнеев.

— Слишком тихо, — отозвалась Василиса.

Он понял, что она имеет в виду. В нормальной деревне в полдень слышно собак — должны были бы лаять, реагируя на гул мотора. Слышно было бы скот — мычание коров, кудахтанье кур, голос петуха. Слышен был бы хоть какой-то человеческий звук — стук топора, скрип двери, чей-то голос. Здесь не было ничего. Только мотор «Нивы» и хруст снега под колёсами.

Они спустились с холма. Въехали в деревню. Корнеев сбавил скорость, чтобы не пугать жителей — но жителей не было. На улице никого. Окна — почти все — заклеены газетой изнутри или закрыты ставнями. Только в редких домах горел тусклый свет.

— Это всегда так? — спросил он.

— Нет, — сказала Василиса. — Раньше нет. Раньше в полдень бабы по воду ходили, мужики курили у клуба. Сейчас... сейчас они сидят по домам. Знают, что что-то не так. Прячутся.

* * *

Дом Зотовых стоял на западном краю — невысокий, с шиферной крышей, с новенькой синей дверью. Калитка была подвязана верёвкой. Корнеев остановил машину у забора и заглушил мотор. В наступившей тишине стало ещё страшнее.

— Идём, — сказал он.

Они вышли. Снег хрустел под валенками громко, как будто били по льду. Калитка открылась со скрипом. Корнеев пошёл первым, Василиса — за ним.

На крыльце — он заметил это сразу — был знак. Углём, прямо на доске: большой крест, перечёркнутый сверху ещё одной чертой. Старый знак. Защитный, наверное. Корнеев слышал о таких — народные обереги, рисуют на пороге, чтобы «не вошло».

Василиса увидела крест. Кивнула, словно подтверждая что-то.

— От Полуночницы, — сказала тихо. — Не помогает. Но рисуют.

Она постучала в дверь — мягко, тремя пальцами. Звук был приглушённый, обитый, словно за дверью что-то лежит. Не успел Корнеев подумать, что им долго не откроют, — дверь распахнулась резко, и в проёме появилась женщина.

Молодая — лет двадцати пяти. Светловолосая, с растрёпанными волосами, в халате поверх свитера, на ногах — шерстяные носки и тапки. Лицо — серое, осунувшееся, с тёмными кругами под глазами. Глаза — широко открытые, лихорадочные, словно она много дней не спала.

Это была Марина Зотова.

— Василиса Гавриловна, — сказала она хрипло, и в голосе её всхлипнули слёзы. — Господи. Слава Богу. Вы приехали.

Она протянула руки. Василиса шагнула вперёд, и Марина рухнула ей на плечо — без церемоний, без знакомства. Так, как падают на единственную опору. И заплакала — глухо, в плечо чужого человека, которого видит первый раз в жизни.

Корнеев стоял у двери и смотрел. Он видел много горя в своей работе. Но это было особенное горе — горе матери, которая шесть недель не спит, потому что ждёт, когда у её ребёнка остановится дыхание.

— Тихо, — Василиса гладила её по голове, как ребёнка. — Тихо. Я здесь. Покажи мне её.

Марина оторвалась от плеча. Кивнула. Молча провела их в дом — через сени, через тёплую кухню, в маленькую комнату с одним окном. В комнате стояла кровать. Деревянная, с резными бортами. В кровати лежал младенец — крошечный, в розовом комбинезоне, с тёмными волосами на маленькой голове. Спал. Дышал — Корнеев увидел, как поднимается грудка под одеяльцем. Часто, мелко, как у птенца.

Василиса подошла к кровати. Постояла молча. Потом — Корнеев увидел это, и сердце у него сжалось, — медленно протянула руку и коснулась лба младенца кончиками пальцев. И в этом её жесте была не просто нежность. В нём была старая, древняя, надёжная сила — как будто она знала, как класть руки, как будто её мать научила её этому, как учила всему остальному.

Алиса открыла глаза. Посмотрела на Василису — серьёзно, не плача. Долго смотрела. И вдруг — улыбнулась. Беззубой младенческой улыбкой. И снова закрыла глаза.

Марина всхлипнула.

— Она... она первый раз за неделю улыбнулась, — прошептала она. — Господи. Спасибо. Василиса убрала руку. Медленно повернулась к окну.

Окно было одно — небольшое, двойное, с двойными рамами. Между рамами лежал снег — тонкая полоска внутри, нанесённая через щель. Стекло изнутри было покрыто инеем.

И в самом центре стекла, среди морозного узора, — Корнеев увидел это, и кожа у него на спине пошла мурашками, — был отпечаток ладони. Тонкой. Женской. С пятью растопыренными пальцами. Иней вокруг ладони таял, словно она была ещё тёплая. Хотя в комнате никого, кроме них троих, не было.

— Свежий, — прошептала Марина за его спиной. — Сегодня в полночь появился. Я думала, к утру растает. Не тает.

Василиса долго смотрела на отпечаток. Молчала. Потом — Корнеев это услышал, и понял, что слова её обращены не к ним, — сказала тихо, в стекло:

— Я знаю, кто ты. И я пришла.

* * *

Они вернулись в кухню. Марина поставила на стол хлеб, варенье из черники, налила в чашки крепкий чай — почти чёрный. Руки у неё дрожали, ложка стучала о край сахарницы. Она сейчас держалась — но Корнеев видел: она держалась на честном слове. Ещё одна бессонная ночь — и она упадёт.

— Где муж? — спросил Корнеев.

— На ферме. Олег. Он там по ночам тоже сидит — со мной, у кровати. А днём — на работе. Скоро придёт.

— Соседи помогают?

— Боятся, — Марина опустила глаза. — Я их понимаю. Соседи — Прокушевы — у них тоже младенец был. В августе. Умер. С тех пор Тамара Прокушева ко мне не заходит. Не может. Я с ней встречаюсь у магазина — она глаза опускает.

Василиса молча пила чай. Корнеев видел, что она напряжённо думает.

— Марина, — сказала она наконец. — Расскажи мне всё. С самого начала. Когда первый раз ты почувствовала.

Марина набрала воздуха. Глотнула чая, как будто это вода и она ей нужна для того, чтобы продолжать.

— В октябре, — сказала она. — Алиса ещё совсем маленькая была — два месяца. Я её только-только перестала пеленать. И вот однажды ночью я проснулась — а в комнате холодно. Так холодно, что у меня пар изо рта. Печь топлю — а холодно. Подхожу к кровати — Алиса синяя. Не дышит. Я её хватаю, трясую — она вдохнула. И заплакала. И в эту минуту я заметила окно: иней разошёлся в виде ладони. Я подумала — мне померещилось.

— А потом?

— А потом — каждую ночь. Каждую. Ровно в двенадцать. Я сижу у кровати до полуночи — и жду. И каждый раз — холод. И каждый раз Алиса перестаёт дышать. Иногда я её толкаю, она вдыхает. Иногда — сама. Но недавно... недавно она стала дышать всё медленнее. Будто... будто её каждый раз чуть-чуть забирают. И возвращают не всю.

— Сколько раз она перестаёт дышать за ночь?

— Один раз. Только в полночь. Потом — нормально. Утром просыпается, ест, играет — будто ничего не было.

Василиса кивнула. Достала из кармана платок, протёрла руки.

— Я останусь с тобой сегодня ночью, — сказала она. — Дмитрий тоже. Будем дежурить вдвоём.

— Втроём, — поправил Корнеев. — Олег ведь будет с нами?

— Олег... — Марина запнулась. — Олег не выдержит ещё ночь. Он сегодня поспит. Я его прогоню — ему утром на ферму, а он еле на ногах стоит.

— Хорошо, — сказала Василиса. — Втроём, потом вдвоём. Я останусь с тобой до утра.

Марина кивнула. Закрыла глаза — на мгновение, словно проверяла, не сон ли это. Открыла.

— Спасибо вам, — сказала. — Я не знаю, как вас отблагодарить.

— Не благодари сейчас, — ответила Василиса. — Поблагодаришь, если получится.

* * *

Корнеев вышел на крыльцо — покурить. Он давно бросил, но сейчас, по случаю, взял с собой пачку. Закурил, держа сигарету в перчатке. Дым на морозе стоял неподвижно.

Деревня всё так же молчала. По улице, в дальнем её конце, медленно шла фигура — старуха в чёрном платке, согнутая, с палкой. Она брела вдоль домов, и каждые несколько шагов останавливалась, словно прислушивалась. Потом продолжала путь. К Корнееву она не повернулась. Не заметила. Или сделала вид, что не заметила.

Из дома Зотовых вышла Василиса. Встала рядом.

— Слышишь? — спросила она тихо.

— Что?

— Колокол.

Корнеев прислушался. Сначала ничего. Потом — где-то очень далеко, наверное, в райцентре, в Запольном, — донёлся низкий, басовитый звон. Один удар. Долгий. Потом — тишина.

— Час дня, — сказала Василиса. — В Запольном церковь, на ней колокол. Когда ветер с запада — у нас в Заречье слышно.

— Только сейчас?

— Сейчас и в полночь, — сказала она. — Полуночница приходит под колокол. Так мама говорила.

Корнеев докурил. Бросил окурочек в снег. Тот зашипел — снег был совсем сухой, мороз пробрался даже в табачный жар.

— Василиса, — сказал он. — Что мы будем делать ночью?

— Сидеть, — ответила она. — И не пускать.

— Это работает?

— Иногда — да. Если знаешь как.

Он посмотрел на неё. В её лице, в тёмных серьёзных глазах, не было ни страха, ни сомнения. Только усталая, готовая, тяжёлая готовность. Так смотрели его отец, когда возвращался с фронта, на свои собственные руки — словно эти руки делали что-то, чего он не выбирал, но не мог не сделать.

— Хорошо, — сказал Корнеев. — Я буду рядом.

— Я знаю, — ответила она.

И они вернулись в дом.

* * *

Глава 3. Марфина дочь вернулась

К вечеру в Заречье явно стало известно, что приехали чужие. Корнеев это почувствовал по тому, как изменилась улица. На западной околице, у магазина — обшарпанной избы с вывеской «Продмаг», — теперь стояли две старухи. Они курили самокрутки, потуже завязывали платки и смотрели — не отрываясь — на дом Зотовых. Не приближались. Просто смотрели. Когда Корнеев вышел во двор за дровами, старухи отвернулись разом — словно по команде. И ушли.

Олег Зотов вернулся с фермы в четыре. Невысокий, плечистый, с обветренным лицом тридцатилетнего мужчины. Под глазами — серые мешки. Он молча пожал Корнееву руку — крепко, как мужик мужику, — и долго смотрел Василисе в лицо, не говоря ни слова.

— Спасибо, что приехали, — сказал наконец. — Марина — она уже не выдерживала. Если бы вы не приехали — она бы... не знаю.

— Я знаю, — ответила Василиса. — Поэтому и приехала.

Олег кивнул. Сел за стол. Марина поставила перед ним тарелку с горячими щами. Он поел молча — быстро, как солдат, который не знает, когда сможет поесть в следующий раз. После щей выпил стакан чаю и сразу — встал.

— Я пойду полежу, — сказал. — С пяти, Марина. Разбуди меня в одиннадцать. Я с вами буду до полуночи.

— Олег, ты три ночи не спал нормально, — сказала Василиса. — Сегодня — отдыхай. Мы справимся.

— Не могу, — он покачал головой. — Это мой ребёнок.

— Это и мой, — сказала Василиса так спокойно, словно говорила очевидное. — Потому что я её увидела. Иди спи. Доверься мне.

Олег посмотрел на неё долгим взглядом. Потом — без слов — кивнул и ушёл в спальню.

* * *

Корнеев решил пройтись по деревне. Сказал Василисе: «Я ненадолго. Хочу осмотреться, понять, кто где живёт». Она кивнула — не возразила. Видимо, понимала: в его работе осмотр был так же важен, как в её — травы.

Он надел шапку, шарф, варежки и вышел. На улице уже сгущались сумерки — короткий зимний день кончался к четырём, и сейчас, в начале пятого, небо стало синим, плотным, как старое сукно. Снег под ногами хрустел сильно. От его шагов разносился звук — далеко, по всей деревне.

Он пошёл от дома Зотовых на восток — к центру деревни. Прошёл мимо нескольких домов — все одинаковые: бревенчатые, низкие, с заколоченными ставнями. Где-то горел свет в одном окне — узкая полоса жёлтого. У одного из домов он услышал, как заскрипела половица за дверью — кто-то подошёл и смотрит на него в щель. Корнеев сделал вид, что не заметил. Прошёл дальше.

В центре деревни был перекрёсток. Налево — фельдшерский пункт (закрыт, окна тёмные), направо — клуб (закрыт, на двери замок). Прямо — дальше по улице — стояла та самая церковка, о которой говорила Василиса. Бывший Покровский храм, превращённый в склад в тридцатых, восстановленный в девяносто восьмых, по тогда уже не действующий — священник из райцентра приезжал раз в месяц. Двери в храме сейчас были заперты, но окна светились — слабым, неровным светом, как от свечи.

Корнеев подошёл к храму. Толкнул дверь — заперта. Постучал. Ответом — тишина. Потом, через минуту, — лёгкий шорох внутри, и дверь приоткрылась. На пороге стояла маленькая старушка в платке. Лицо у неё было сморщенное, как печёное яблоко, а глаза — острые, чёрные.

— Здравствуйте, — сказал Корнеев. — Я к вам нездешний.

— Знаю, — она посмотрела на него снизу вверх. — Вы с той, кто приехал к Зотовым.

— Да.

— Заходите, — старушка отступила в сторону.

Внутри храма было прохладно, но не морозно. Пахло воском и старым деревом. У алтаря — лампадка. На стенах — иконы, тёмные от времени. Старушка показала Корнееву на скамейку у стены.

— Меня Глафирой Никитичной зовут, — сказала она, садясь напротив. — Я тут вроде сторожихи. Слежу, чтоб не воровали, и чтоб лампадка не гасла. Раз в месяц батюшка из района приезжает, тогда служба.

— Глафира Никитична, — Корнеев говорил тихо, под церковные своды. — Я по делу приехал. Хочу понять, что в деревне происходит.

— А что происходит? — она наклонила голову. — Ничего особенного. Деревня помирает. Стариков много, молодых мало. Дети рождаются — умирают. Так бывает.

— Не «так бывает», — мягко возразил Корнеев. — Трое за полгода. В деревне на сто человек.

Глафира Никитична долго молчала. Потом сказала, не глядя на него:

— Полуночница вернулась. Вот и всё, что я могу сказать.

— Что это?

— Дух, — она перекрестилась. — Старый дух. Жадный. Приходит к младенцам по ночам, ворует у них дыхание. Меня моя бабушка ещё пугала ею, когда я маленькая была. Говорила: «Если ребёнок ночью пищит — не вставай. Это Полуночница его щекочет, чтобы мать встала и оставила колыбель открытой».

— Откуда она взялась?

— Никто не знает, — Глафира Никитична посмотрела на лампадку. Огонёк её колыхался — словно от сквозняка, хотя двери и окна были закрыты. — Никто не знает, откуда она. Знают только — её можно позвать. Если найдётся, кому. И тогда она остаётся.

— А кто здесь её позвал?

Старушка молчала долго. Очень долго. Потом — почти шёпотом:

— Я не скажу. И никто в деревне не скажет. Боятся.

— Степанида Власьевна?

Старушка вздрогнула. Подняла на Корнеева глаза. И в этих чёрных, острых, выцветших глазах он увидел: попал.

— Я ничего не говорила, — сказала она быстро. — Я ничего не знаю. Идите с Богом. И вашу... Марфину дочь... скажите ей: пусть бережётся. В деревне есть те, кто рад её приезду. И те, кто — нет.

— Кто — нет?

— Те, кто помнит, как горел дом её матери, — Глафира Никитична встала. — А теперь идите. Мне работать. Лампадку поправлять.

Корнеев встал. Кивнул. Уже у двери оглянулся.

— А вы тогда были? Когда сожгли?

Старушка повернулась. Долго на него смотрела.

— Была, — сказала она. — Бежала тушить. Не успела. Я тогда — единственная, кто бежал. Остальные — стояли и смотрели. И я тоже стояла, потом, когда поняла, что не успеть. Простите меня, Господи.

И перекрестилась снова. Корнеев вышел.

* * *

Он шёл обратно по тёмной улице — к дому Зотовых. На востоке уже зажглись первые звёзды, мелкие, колкие. В одном из окон, за тюлевой занавеской, мелькнуло лицо — старуха

смотрела на него, не отрываясь. Когда он поравнялся — занавеска дрогнула, опустилась, и лицо исчезло.

«Марфина дочь вернулась» — это знала уже вся деревня. И каждый сейчас решал, что с этим делать.

У дома Зотовых на крыльце стояла фигура — женская, в длинном тёмном пальто, в платке. Спиной к Корнееву. Он подходил — фигура не двинулась. Когда он уже почти подошёл — обернулась.

Это была женщина лет шестидесяти. С круглым лицом, с тёплыми морщинистыми глазами, с румяными от мороза щёками. В руках она держала корзину, накрытую полотенцем. От корзины шёл запах — мучной, горячий, домашний.

— Здравствуйте, — сказала она ласково. — Вы, наверное, Дмитрий? Я — Степанида Власьевна. Узнала, что Василиса приехала, — не утерпела, прибежала её повидать. И вот, пирогов принесла. С капустой и с курицей. Свежие, только из печи.

Корнеев смотрел на неё. Лицо — доброе. Глаза — тёплые. Голос — мягкий, певучий. И при всём этом — кожа у него на затылке поднялась. Эта женщина — на которую он смотрел сейчас — стояла в семьдесят третьем году над колыбелью больного младенца и шептала имя Полуночницы. И сейчас, тридцать с лишним лет спустя, она пекла пироги и приходила в дом, где младенец каждую ночь перестаёт дышать.

— Заходите, — сказал он, открывая дверь.

Степанида Власьевна вошла. И на крыльце — в этот момент — Корнеев услышал, как зади, у дальнего забора, тоскливо завyla собака. Низко, длинно, по-волчьи.

Это был первый собачий голос, который он услышал в Заречье за весь день.

* * *

Василиса увидела Степаниду — и Корнеев заметил, как она замерла. На долю секунды. Потом — справилась. Шагнула вперёд, обняла старуху. Степанида тоже обняла её — и заплакала.

— Деточка, — повторяла она. — Деточка моя. Сколько лет, сколько зим. Я тебя сразу узнала бы — ты вся в Марфушу. Глаза те же, волосы те же.

— Здравствуйте, Степанида Власьевна.

— Здравствуй, родная.

Они сели за стол. Степанида развязала корзину, выложила пироги — большие, румяные, аппетитные. Марина суетилась — ставила тарелки, наливала чай. Корнеев сидел молча. Наблюдал.

Степанида гладила Василису по руке. Говорила про прежние времена — про Марфу, про деревенские посиделки, про то, как они вместе ходили в лес за травами. Голос у неё был тёплый, добрый, искренний — Корнеев не мог уловить ни одной фальшивой ноты. И всё же — он чувствовал: что-то не так. Что-то внутри этой тёплой искренности — чёрное, плотное, не названное.

— А я уж и не чаяла, — говорила Степанида, — что ты приедешь когда-нибудь. Ушла ты тогда после пожара — и как в воду канула. Куда тебя дед забрал? В Чернотопье?

— В Чернотопье.

— А я ему тогда говорила, — Степанида покачала головой, — оставь её мне, я воспитаю. Я её как родную любила. Но дед — упрямый был. Своя кровь. Забрал.

— И правильно сделал, — сказала Василиса.

Степанида замолчала на секунду. Подняла глаза.

— Ну, может, и правильно, — согласилась она. — Тебе виднее. А ты теперь — в Чернотопье и живёшь? С Дмитрием Алексеевичем?

— Живём.

— Хорошо, — Степанида улыбнулась. — Это хорошо. Мужик надёжный. Я по глазам вижу.

Корнеев молчал. Он чувствовал, что его «читают». И ещё чувствовал — что-то в этом «чтении» было профессиональным, опытным, годами выработанным. Степанида не просто смотрела — она оценивала.

— Степанида Власьевна, — сказала Василиса. — Я приехала не просто так. Я к Алисе приехала.

Старуха вздохнула. Лицо её опечалилось — мгновенно, как будто она это репетировала.

— Знаю, девочка. Слышала. Я ведь её тоже принимала, Алису-то. Я тут одна повитуха осталась. Маленькая была, в семь часов утра родилась, в августе. Хорошая девочка. Здоровенькая. И вот — несчастье.

— Что в деревне говорят?

— Бабы шепчутся, — Степанида понизила голос. — Говорят — Полуночица вернулась. А я им — глупости говорю. Я им — что в восьмьсот пятом году в наших местах тоже была волна младенческих смертей, и тоже шептались — а потом выяснилось, грипп. И в семидесятых — то же самое. Корь, скарлатина, что-то ещё. Дети маленькие, болеют, — что ж тут странного.

— А вы сами как думаете?

Степанида подняла на Василису глаза. И в этих тёплых, морщинистых, добрых глазах Корнеев увидел — на короткое мгновение — пустоту. Холодную, плоскую, ту, что бывает у людей, которые умеют врать давно и хорошо.

— Я, девочка, ни во что уже не верю, — сказала Степанида тихо. — Я слишком много видела. Дети рождаются — умирают. Это жизнь. Зачем духов придумывать? Дух у человека внутри. Если хороший — будет жить. Если плохой — нет.

Василиса не отвела глаз.

— А отпечаток на окне? Откуда он? — спросила она.

Степанида чуть заметно вздрогнула.

— Какой отпечаток?

— Ладони, — сказала Василиса медленно. — Женская ладонь, изнутри. На замёрзшем стекле. Каждую ночь.

— Не знаю, — Степанида опустила глаза. — Я не видела. Марина говорила. Может, ей мерещится. Когда не спишь шесть недель — что хочешь померещится.

— Может быть, — Василиса согласилась слишком быстро.

Степанида заёрзала. Чай в её чашке остывал — она его не пила.

— Ладно, — старуха поднялась. — Я пойду. Холодно уже. Пирог ешьте — там и завтра ещё съедобные будут. А ты, Василисочка, — она снова потянулась к её руке, — заходи ко мне. Я живу там, где и раньше. У оврага. Помнишь дом?

— Помню.

— Заходи в любое время. Чаю попьём, поговорим. Я тебе про маму твою расскажу — много чего ты не знаешь. Хорошее всё. Любила я Марфу. Очень любила.

Она перекрестила Василису — старательно, медленно, тремя пальцами. И ушла.

Когда дверь за ней закрылась, в кухне стало тихо. Корнеев посмотрел на Василису. Та сидела, не двигаясь. Лицо у неё было каменное. Она протянула руку, взяла со стола кусок пирога — того самого, тёплого, что принесла Степанида. Долго смотрела на него. Потом — медленно — встала, открыла дверцу печки и бросила кусок в огонь. Пламя жадно его проглотило.

— Что это? — Марина смотрела с недоумением.

— Ничего, — сказала Василиса. — Просто я не ем то, что от неё.

— Почему?

Василиса повернулась к ней. И сказала — сухо, твёрдо:

— Потому что Степанида Власьевна врёт. Я не знаю, в чём именно. Но врёт. Я это чувствую так же ясно, как чувствую тепло этой печи. И мама её любила — а потом мама её испугалась. Я помню. Незадолго до пожара мама её к нам не пускала. Говорила: «Степанида сейчас не та». Я тогда не поняла. Сейчас понимаю.

Она вытерла руки полотенцем. Села обратно за стол.

— Дмитрий, — сказала она. — Завтра я хочу пойти в дом матери. Если он ещё стоит.

— Стоит ли? — спросил он.

— Развалины. На месте сожжённого. Дед говорил — никто там не отстроился. Земля проклятая. Может, фундамент остался. Может, что-то ещё. Я хочу пойти. Я хочу посмотреть.

— Хорошо, — кивнул Корнеев. — Пойдём вместе.

Марина уже укачивала Алису в кроватке — девочка спала, чмокая губами. До полуночи оставалось пять часов. И каждую из этих минут Корнеев теперь чувствовал, как тяжёлую гирю на груди.

* * *

Глава 4. Первая ночь

Олега разбудили в одиннадцать. Он вышел из спальни тяжёлый, отёкший от короткого сна, протёр лицо ладонями и сел за стол молча. Марина налила ему кружку крепкого чая. Он выпил её в три глотка, не поморщившись от кипятка, словно горло у него было уже мёртвое.

— Уведи Марину спать, — попросила Василиса. — Я сегодня сама посижу с Алисой. И Дмитрий рядом.

— Я не лягу, — Марина мотнула головой.

— Ляжешь, — голос Василисы был мягкий, но не оставлял выбора. — Сегодня ляжешь. Завтра — твоя очередь, я тоже устану. Послезавтра — снова твоя. Так и будем меняться. Иначе ты не дотянешь. И тогда мы все проиграем.

Олег посмотрел на жену. И в его взгляде Корнеев увидел: благодарность. Глубокую. Тяжё- лую.

— Маринка, пошли, — сказал Олег. — Они правы.

Марина подчинилась — не сразу, со слезой в глазу, но подчинилась. Олег увёл её в спальню. Через десять минут оттуда послышалось ровное, тяжёлое дыхание — она уснула мгновенно, как только ткнулась головой в подушку. Шесть недель без сна — это бездна, в которую ныряешь сразу, как только разрешают.

Олег вернулся в кухню — без жены. Сел напротив Корнеева.

— До полуночи — час, — сказал тихо. — Что мне делать?

— Сиди у двери, — ответила Василиса, прежде чем Корнеев успел открыть рот. — В комнате к Алисе будем мы с Дмитрием. Ты — здесь, на кухне. Если позову — заходи. Если не позову — не заходи. Что бы ни услышал. Понял?

— Понял.

— Ещё одно. Олег. У вас в доме есть нож? Простой, кухонный, железный.

— Есть.

— Положи его на пороге. Острием в комнату. Не наступай через него.

Олег смотрел недоуменно. Но не спорил. Достал из ящика длинный кухонный нож, подо- шёл к двери в комнату Алисы и положил его поперёк порога. Острие — в комнату. Лезвие легло на половицу с тихим звяком.

— Зачем? — шёпотом спросил Корнеев у Василисы.

— Железо она не любит, — так же тихо ответила Василиса. — Раньше у каждой колыбели лежали ножницы. Современные люди забыли. Но иногда помогает.

Она достала из своей сумки маленький свёрток. Развернула. Внутри — соль крупного помола в стеклянной банке, пучок сухой травы, перевязанный синей ниткой, и маленький кусо- чек чёрного, словно опалённого, камня. Камень она зажала в кулаке.

— Идём, — сказала.

* * *

Комната Алисы освещалась ночником — маленьким, в виде луны, дающим ровный жёл- тый свет. Алиса спала в кровати. Дыхание её было ровное, частое. На стене над кроватью висела маленькая иконка — Богородица с младенцем. Олег с Мариной были верующие — но не воцерковлённые: иконку повесили скорее «на всякий случай», как все деревенские.

Василиса положила свёрток с травой и солью на тумбочку. Сама встала у окна, спиной к нему. Корнеев сел на стул у двери — так, чтобы видеть и кровать, и окно.

— Дмитрий, — сказала Василиса тихо. — Что бы ты ни увидел — не двигайся. Не кричи. Не подходи к окну. Я знаю, что делаю.

— А ты что увидишь?

— Я увижу её, — ответила Василиса. — Возможно. Если повезёт.

— А если не повезёт?

— Тогда я её только почувствую.

Корнеев кивнул. Он не очень понимал — но понимал, что сейчас не время задавать вопросы.

Часы на стене показали без пятнадцати двенадцать. Тиканье — медленное, размеренное — стало в этой комнате единственным звуком. И ещё — дыхание Алисы. Тоже размеренное. Ровное. Маленькая грудка под одеяльцем поднималась и опускалась, поднималась и опускалась.

* * *

Без пяти двенадцать.

В комнате стало холоднее. Корнеев это почувствовал сразу — кожа на запястьях покрылась мурашками. Он посмотрел на термометр у окна — старый, советский, прикрученный к раме. Столбик ртути полз вниз. Двадцать. Восемнадцать. Шестнадцать. Пятнадцать.

Печь топилась. Заслонка была открыта. На кухне Олег подбрасывал дрова — Корнеев слышал, как шумит топка. Тепло шло в комнату через открытую дверь. И всё-таки — температура падала.

Без двух — двенадцать.

Василиса начала шептать. Тихо, едва слышно. Слова сливались — Корнеев не разобрал их, и понимал только, что это не русский язык в привычном смысле. Это было что-то более старое. Что-то, чему её научила мать. Что-то из тетради в кожаном переплёте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.